

УДК 820/89+82(100)

**«СВОЙ» И «ЧУЖОЙ» МИРЫ  
В ЛИРИКЕ В.В. МАЯКОВСКОГО***Д.Ш. Ханнанова***Аннотация**

Статья посвящена анализу мотивной и образной структуры лирики Маяковского с точки зрения отражения в ней оппозиции «свое»/«чужое», которая находит воплощение в антиномиях «я» / «окружающий мир» в ранней лирике и «образ врага» / «мы» коллектива в поздней лирике.

**Ключевые слова:** «свой», «чужой», лирический субъект, образ толпы, образ врага.

---

Проблема взаимоотношений «своего» и «чужого», признанная одной из ключевых в области философии, социологии, этнографии и культурологии [1], с различных позиций исследовалась в работах Б. Вальденфельса («Своя культура и чужая культура»), С. Гринблатта («Формирование “я” в эпоху Ренессанса»), О.В. Беловой («Этнокультурные стереотипы в славянской народной традиции»), Ю.В. Чернявской («Народная культура и национальные традиции»), А.К. Байбурина («Ритуал в традиционной культуре»), М.А. Шенкао («Основы философской танатологии»), В.И. Ереминой («Ритуал и фольклор»).

По словам Ю.М. Лотмана, «деятельность человека как *homo sapiens*'а связана с классификационными моделями пространства, его делением на “свое” и “чужое” и переводом разнообразных социальных, религиозных, политических, родственных и прочих связей на язык пространственных отношений» [2, с. 142]. С позиции культурологии «свое» предстает как мир, освоенный человеком, в то время как чужое осознается как нечеловеческое (не принадлежащее человеку, человеком не освоенное) [3, с. 184].

Обращение к словарному толкованию понятий «свой» и «чужой», а также семантически близким последнему понятиям «другой» и «чуждый» показывает, что в современных толковых словарях все больше сближаются понятия «чужой» и «чуждый». Как «чужой», так и «чуждый» в интересующем нас значении предполагают отсутствие общих взглядов, интересов, отсутствие «близких отношений» (БТС, с. 1486). Оба понятия отдаляются от понятия «другой», неизменно определяемого как «не такой, иной» (ТСРЯ, с. 181).

Учитывая рассмотренные выше подходы к проблеме «своего» и «чужого», попытаемся дать рабочие определения понятия «чужого» как первичного, необходимого для объяснения того, что же представляет собой «свое»; и понятия «своего», осмысляемого по контрасту с «чужим». Под «чужим» мы будем понимать территориальную и идеологическую общность, характеризующуюся

пространственной удаленностью, ограниченностью (наличием границы), непонятностью, непознаваемостью, враждебностью. Непознаваемость «чужого» мира проявляется в том, что он не может быть объяснен при помощи понятийного аппарата, принятого в «своем» мире. Последнее свойство обуславливает эстетическую и идеологическую неприемлемость «чужого». Между «своим» и «чужим» принципиально невозможна и недостижима духовная и интеллектуальная близость. Поэтому область «чужого» в известной степени лежит за пределами «человеческого» (близкого, понятного, доступного «своему» человеку); его населяют «не-люди», «недочеловеки», что вполне объяснимо психологически: непонятное оказывается ужасным, безобразным, отталкивающим, лишается каких-либо человеческих черт. Соответственно «своей» территориальной и идеологической общности присущи такие особенности, как принадлежность определенной территории, обособленность от «чужого», познаваемость, доступность, духовная близость.

Анализ мотивной и образной структуры лирики поэта с точки зрения выявления противопоставления «свое»/«чужое» учитывает взаимное влияние сосуществующих вертикальной и горизонтальной мифологических моделей. В творчестве Маяковского находит отражение система фундаментальных противопоставлений «верх»/«низ», «небо»/«земля (преисподняя)», соотносимая с вертикальной моделью мира [4, с. 666]. В то же время значительное место в мифопоэтической картине мира занимает и противопоставление «свое»/«чужое», функционирующее в рамках горизонтальной мифологической модели. Совмещение двух моделей выражается в том, что «свой» мир может отождествляться не только с определенным коллективом, но и с землей; область «чужого», заполняемая врагами, обыкновенно располагается в нижнем мире.

В ранней лирике Маяковского утверждение лирическим субъектом своей индивидуальности происходит через развитие основной для данного периода антиномии «я» / «окружающий мир». Несмотря на стремление лирического субъекта к единению с другими, сфера «я» еще не расширяется до пределов «своего» мира: лирический субъект безмерно одинок в той общественной среде, в которую попадает. Чаще всего свойственное субъекту состояние крайней напряженности, обусловленной обостренным сознанием несовпадения «я» и окружающего мира, передают мотивы шага (ходьбы) и голоса (крика): «Я вышел на площадь, / выжженный квартал / надел на голову, как рыжий парик. / Людям страшно – у меня изо рта / шевелит ногами непрожеванный крик» («А все-таки», ВМ1, с. 18); «иду / один рыдать, / что перекрестком / распяты / городовые» («Я», ВМ1, с. 32); «я встал, / шатаюсь полз через ноты, / сгибающиеся под ужасом пюпитры, / зачем-то крикнул: / «Боже!» / Бросился на деревянную шею...» («Скрипка и немножко нервно», ВМ1, с. 66–67). Мотив активности движения, перемещения в пространстве подчеркивается употреблением глагольных форм совершенного вида «вышел», «надел», «встал», «крикнул», «бросился». Напротив, способы перемещения толпы свидетельствуют о ее пассивности, косности: «Через час отсюда в чистый переулок / вытечет по человеку ваш обрюзгший жир...» («Нате!», ВМ1, с. 29). Однако активность поведения лирического субъекта не означает направленности на преобразование действительности; она является следствием потери способности контролировать свои поступки в ситуации предельного отчаяния.

Между тем в дореволюционных поэмах находим попытки обретения «своего», присоединения к некоему коллективу, однако единение с желанным «мы» достигается только в будущем и всегда невозможно в текущий момент: «Плевать, что нет / у Гомеров и Овидиев / людей, как мы, от копоти в оспе. / Я знаю – / солнце померкло б, увидев / наших душ золотые россыпи!» («Облако в штанах», ВМ1, с. 108); «Губ не хватит улыбке столицей. / Все / из квартир / на площади / вон! / Серебряными мячами / от столицы к столице / раскинем веселие, / смех, / звон!»; «Земля, / откуда такая любовь нам?»; «Люди! – / любимые, / нелюбимые, / знакомые, / незнакомые, / широким шествием излейте в двери те» («Война и мир», ВМ1, с. 187, 188).

Очевидно, что поэт любит людей улицы не за их нынешние темноту и беспомощность, а за их потенциальные возможности, за их будущее, в которое верит и ради которого готов пожертвовать собой. В «Облаке в штанах» об этом свидетельствуют парадоксально связанные с темой торжества революции и мыслью о невозможности прощения мотивы распятия и пророчества, образы Голгофы, «тернового венца революций», предтечи, спасителя, окровавленной души: «Я, / обсмеянный у сегодняшнего племени, / как длинный / скабресный анекдот, / вижу идущего через горы времени, которого не видит никто» (ВМ1, с. 109). В «Войне и мире» рождению на пепелище нового, созданного для величия и счастья человека мира предшествуют мотивы покаяния и искупления: «Нет, / не подыму искаженного тоской лица! / Всех окаяннее, / пока не расколется, / буду лоб разбивать в покаянии!»; «Вытеку срубленный, / и никто не будет – / некому будет человека мучить. / Люди рождаются, / настоящие люди, / бога самого милосердней и лучше» (ВМ1, с. 180, 181).

Уже в стихотворения 10-х годов XX в. проникают представления о «чужом» мире, о враждебности социума. Толпа и город осознаются как начала чуждые, заключающие в себе угрозу существованию и подавляющие свободу жизненных проявлений, в то время как амбивалентное восприятие природы обуславливает привязанность поэта к матери-земле и отношения борьбы-соперничества с отцом-небом («Кое-что про Петербург», «За женщиной», «От усталости»).

Социальный аспект оппозиции «я» / «окружающий мир» в ранней лирике очевиднее всего обнаруживается в противопоставлении лирического героя толпе («Ночь», «Нате!», «Мое к этому отношение», «Надоело», «Дешевая распродажа»). В некоторых случаях обнаруживается не только несовместимость героя с социальной средой, но и неприятие им материальной действительности в целом; он не вписывается в ее узкие рамки, не совпадает с ней: «Пойду, / любвищу мою волоча. / В какой ночи, / бредовой, / недужной, / какими Голиафами я зачат – / такой большой / и такой ненужный?» («Себе, любимому, посвящает эти строки автор», ВМ1, с. 152). В стихотворении «России» город, природа и общество образуют недружелюбную и суровую к поэту среду, сливаясь в едином образе родной страны: «Я не твой, снеговая уродина. / Глубже / в перья, душа, уложись! / И иная окажется родина, / вижу – / выжжена южная жизнь»; «Ржут этажи я. / Улицы пелятся. / Обдают водой холода. / Весь истыканный в дымы и в пальцы, / переваливаю года» (ВМ1, с. 156, 157). Они же связаны мотивом похоти в стихотворении «А все-таки»: «Улица провалилась, как нос сифилитика. / Река – сладострастье, растекшееся в слюни. / Отбросив белье до последнего листика, /

сады похабно развалились в июне» (ВМ1, с. 60). Наиболее ожесточенную форму конфликт поэта и социума приобретает в стихотворениях «Вот так я сделался собакой» и «Никчемное самоутешение». В первом из них мотив выпадения из коллектива, или мотив «социального отчуждения», реализуется как отчуждение от собственного «я», утраты привычного (коммуникативного, телесного, социального) облика [5]. Во втором выключенность лирического субъекта из коммуникации проявляется в том, что окружающие (поэт, девушка, дети) оказываются «извозчиками»; стихотворение строится на развитии мотива подмены сути видимостью: «Улицу врасплох огляните – / из рож ее / чья не извозчичья?» (ВМ1, с. 137).

Границы «чужого» в ранней лирике расширяются также за счет того, что «чужой» для поэта оказывается и литературная среда, состоящая, по его мнению, из бездарных поэтов и недальновидных критиков («Никчемное самоутешение», «Мрак», «В.Я. Брюсову на память»; «Галопщик по писателям»). Разговор с собратьями по искусству как в дореволюционной, так и в послереволюционной лирике ведется назидательным тоном: «Вас, / прилипших / к стене, / к обоям, / милые, / что вас со словом светло?»; «Если / такие, как вы, творцы – / мне наплевать на всякое искусство» («Братья писатели», ВМ1, с. 218, 219); «Прошу / Бориса Пильняка / в деревне / не забыть никак, что скромный / русский простолюдин / не ест / по воскресеньям / пудинг»; «Не частушить весело / попрошу Доронина, чтобы не было / село / в рифмах проворонено» («Работникам стиха и прозы, на лето едущим в колхозы», ВМ6, с. 146, 148). Обращения к молодому поколению поэтов и рабкоров с призывом участвовать в строительстве новой, лучшей жизни также всегда сопровождает наставительный тон старшего («Приказ по армии искусства», «Поэт и рабочий», «Пернатые», «Рабочий корреспондент», «Селькор», «Послание пролетарским поэтам», «Писатели мы»).

Таким образом, очевидно, что в ранней лирике положение индивида, выключенного из нормального человеческого общения, оценивается поэтом как неестественное; потребность в преодолении одиночества влечет его на улицы города на поиски единения с другими, однако все попытки установить контакт с людьми обречены на провал («А все-таки», «Себе, любимому, посвящает эти строки автор», «Дешевая распродажа»).

Мы убеждаемся в сложном характере самоощущения поэта в социуме. Анализ мотивов шага и голоса, соотносимых с состоянием предельного отчаяния, вскрывает такие противоположные стремления лирического героя, как выключенность из коммуникативной ситуации и желание наладить коммуникацию; вызов и крик о помощи – отталкивание и потребность в единении. Социальный аспект оппозиции «я» / «окружающий мир» слагается из противопоставления лирического субъекта толпе и реализации темы одиночества; в обоих случаях акцентируется внимание на выпадении субъекта из ситуации общения, его некоммуникабельности. Несмотря на видимую непреодолимость конфликта между толпой и субъектом, настойчивая потребность разрешения одиночества предполагает возникновение и развитие мотива единения, который приобретает окончательную оформленность в стихотворениях 20-х годов.

В послереволюционный период преобладание горизонтальной модели обусловливает ослабление роли индивидуального «я» и смещение акцента с «я», соотносимого с внутренним миром личности, на «мы», выражающее ценности

коллективного, надындивидуального сознания [6, с. 30]. Такое изменение в организации художественного мира приводит к формированию обособленных сфер «своего», отождествляемого с коллективом, связанным общей идеологией, представлениями о должном и недолжном, – и «чужого», обозначающего то, что из этого коллектива выпадает: «И выявилось / два / в хаосе / мира / во весь рост. / Один – / животище на животище. / Другой – / непреклонно скалистый – / влил в миллионы тыщи. / Встал горой мускулистой» («Владимир Ильич!», ВМ2, с. 17). Вспомним, что в некоторых случаях поэт говорит от лица «мы» уже в ранней лирике; при этом сама толпа остается «безъязыкой», немой. Особенно часто это обнаруживается в текстах поэм, специфика которых состоит в явно выраженной направленности на коммуникацию.

Под «своим» миром в стихотворениях Маяковского 20-х годов понимается вся расположенная в центре мироздания Советская Россия с ее рабоче-крестьянским населением («Мы идем», «Стихи о советском паспорте», «Молодая гвардия», «Смыкай ряды!»); при этом утверждается равенство и единство рабочих и крестьян. Природа теперь выступает как органическая часть благоустроенного и «своего» мира. Положительные коннотации, которые порождают образы солнца, неба, земли, обусловлены тем, что вселенная мыслится подчеркнуто антропоцентричной («Портсигар в траву ушел на треть», «Смотри, крестьянин!», «Разве у вас не чешутся обе лопатки?»). «Свой» мир изображается как непрерывно развивающийся, изменяющийся; отсюда актуализация мотива строительства, часто выступающего наряду с мотивом шага (марша): «Биты белые в боях. / Все за труд! / За пользу! / Эй, рабочий, / Русь твоя! / Возроди и пользуй! («Сказка для шахтера-друга», ВМ2, с. 108); «Побеждай разрухи злость: / каждый гвоздь – / в разруху гвоздь» («Да здравствует неделя ремонта», ВМ2, с. 214).

В целом в поздних стихотворениях Маяковского исторические судьбы родины и народа выдвигаются на первый план; вместо холодного отчуждения, пронизывающего стихотворение «Родина», герой его лирики обнаруживает чувство глубокой сопричастности природной и социальной жизни Советской России. На уровне мотивной структуры можно наблюдать, что мотив единения приходит на смену мотиву одиночества, устойчивому в лирике 10-х годов XX в. [7, с. 39]: «Мы! / Коллектив! / Человечество! / Масса! / Довольно маяться. / Маем размайся! В улицы! / К ноге нога! Всякий лед / под нами / ломайся! / Тайте / все снега!» («1-е мая», ВМ3, с. 199); «Мы идем / революционной лавой. / Над рядами / флаг пожаров ал. / Наш вождь – / миллионноглавый / Третий Интернационал» («III Интернационал», ВМ2, с. 27). Таким образом, революция позволила Маяковскому преодолеть социальное отчуждение, почувствовав свою причастность общности, связанной единством взглядов, убеждений [8, с. 8], что находит выражение в мотивах единения и строительства.

Особенностями внешней политики Советской России во многом обусловлено и формирование сферы «чужого» в позднем творчестве Маяковского. Так, в период гражданской войны она представлена белыми и интервентами; в середине 20-х годов к ней отнесены капиталистические государства Запада, противопоставленные Советской России. К мотивам, специфичным для образа врага, относятся мотивы издевательств над простыми людьми («Песня рязанского мужика»), мотивы мести, первобытного, «дикарского» невежества, специфичные для кулака

(«Рабочий корреспондент», «Лицо классового врага»), мотивы экспансии, навязывания своей воли и одурачивания народа («Смотри, крестьянин!»).

В стихотворениях о капиталистических странах, написанных в связи с зарубежными поездками середины 20-х годов («Как работает республика демократическая?», «Германия», «Два Берлина», цикл «Париж», цикл «Стихи об Америке»), оппозиция «свое»/«чужое» воплощается в двух вариантах: противопоставление капиталистического уклада жизни справедливому социальному устройству советской родины; противопоставление богатых и обездоленных в пределах «чужого» мира. Так, стихотворения «Блек энд уайт» и «Сифилис» из цикла «Стихи об Америке» вскрывают ненормальность отношений между черными и белыми, богатыми и бедными [9, с. 273–274]. Окружающий мир враждебен человеку. Все три стихии (небо, земля и нижняя бездна) оказываются чуждыми Маяковскому, тогда как капиталисты гармонично вписываются в вертикальную модель мироустройства. Поэт с раздражением, безразличностью пишет о естественных проявлениях природной жизни: «то волны / приливом / полберега выруют, / то краб, / то дельфинье выплеснет тельце, / то примусом волны фосфоресцируют, / то в море / закат киселем раскиселится»; «Но пляж / буржуйкам / ласкает подошвы. / Но ветер, / песок / в ладу с грудастыми» («Нордерней», ВМЗ, с. 238–239). Вспомним, что буржуа, хозяин жизни, находился «в ладу» со стихиями и в стихотворениях 10-х годов. В «Моем отношении» несимпатичному для Маяковского пухлому господину покоряются даже небесные светила: «Солнце взойдет, и сейчас же луч его / ему щекочет пятки холеные, / и луна ничего не находит лучшего. / Объявляю всенародно: очень недоволен я» (ВМ1, с. 98). И в том и в другом случае природа, благоволящая капиталисту, даже находящаяся у него в услужении, недвусмысленно свидетельствует о его абсолютной власти и могуществе в мире социальном.

Напротив, беспечная жизнь советских граждан на природе получает положительную оценку: это заслуженный отдых, оздоровление и восстановление сил. Здесь те же море, жаркое солнце, пляж «наслаждаются» представителей «своего» мира: «Цветы / природа / растрчивает, соря – / для солнца / светлоголового. / И все это / наслаждало / одного царя! / Смешно – / честное слово!» («Крым», ВМ6, с. 221); «Ляжем / пляжем / в песочке рыться мы / бронзовыми / евпаторийцами. / Скрип уключин, / всплески / и крики – / развлекаются / евпаторийки» («Евпатория», ВМ6, с. 226). Однако отношение к курортной жизни заметно изменяется, когда герой сталкивается с житейскими неудобствами («Земля наша обильна»), или когда речь идет об отдыхе нэпманов: «Солнцу облегчение. / Сияет солнце. / На лице – / довольство крайнее. / Сколько / силы / экономится, / тратящейся / на всенэповское загорание» (ВМ6, с. 232). Сопоставление стихотворений о курортной жизни «своих» и «чужих» позволяет сделать вывод об идеологизированности и тенденциозности восприятия мира в позднем творчестве поэта.

«Чужое», отождествляемое с реалиями «старого мира» и старого быта, продолжает существовать и в пределах советского государства. Различению двух форм «чужести» (внутри и вне «своего» мира) соответствует разделение врагов на внешних и внутренних.

Образ внешнего врага вырастает из образа толпы, которая в поздней лирике уже распадается на отдельных представителей, наделяемых индивидуальными

чертами. Это подтверждается многими ранними текстами, в которых неудовольствие поэта вызывает какая-то отдельная группа людей или представители определенного класса, сословия, профессии. Речь идет, прежде всего, о «гимнах»: «Гимн судье», «Гимн ученому», «Гимн здоровью», «Гимн критику», «Гимн взятке» и «Внимательное отношение к взяточникам». Персонажей этих стихотворений объединяет, в понимании Маяковского, отсутствие какого бы то ни было «человеческого качества». На родство образов толпы и врага указывает совпадение их значимых характеристик. Среди них можно выделить любовь к комфорту, вещизм («Вам!», «О дряни»), безликость («Нате!», «Надоело»; «Прозаседавшиеся»), цинизм («Скрипка и немножко нервно», «Хорошее отношение к лошадям», «Сволочи!»), склонность к бессмысленному, с точки зрения поэта, времяпрепровождению.

Истоки образа внутреннего врага можно увидеть в особенностях советской политики, важнейшим элементом которой, по словам И.Я. Геллера, является «раскол большинства, дробление, атомизация общества»; такая ситуация становится возможной благодаря «принципиальному неравенству» граждан, закрепленному в первой советской конституции, принятой в июле 1918 г. В соответствии с ней некоторые категории граждан (торговцы, служители культа, бывшие сотрудники полиции, богатые крестьяне) оказываются полностью лишенными гражданских прав [10, с. 63]. Выдвижение на первый план фигуры «внутреннего врага» обусловлено и возникновением в начале 20-х годов нэпманов, существовавших как обособленная социальная группа внутри советского общества [10, с. 178].

Опасность внутренних врагов во многом определяется их способностью хитро и умело притворяться «своими», маскировать враждебность и уродливую внутреннюю сущность. В ряде стихотворений выступает мотив подмены сути видимостью, известный еще в ранней лирике, где он сопровождает образ толпы; теперь данный мотив устойчиво связывается с «вредительством»: «А как / сейчас / нащупать врага нам? / Таится. / Хитрый! / Во что б ни обулись, / что б ни надели – / обноски / буржуев / у нас на теле» («Маруся отравилась», ВМ5, с. 332–333).

Надо сказать, что представления Маяковского о врагах советского государства вполне согласуются с государственной политикой и эволюционируют вместе с ней. Само выражение «классовый враг» появляется только в 1928 г. в стихотворении «Лицо классового врага», где называет буржуя и кулака. Известно, что о конце нэпа официально было объявлено Сталиным в декабре 1929 г., но «гражданский мир» он объявит расторгнутым еще в апреле 1928 г. Широкое распространение в 20-е годы получает мотив чистки («На что жалуетесь?», «Урожайный марш»); в стихотворениях фигурируют названия организаций, деятельность которых была связана с выполнением функции «чистки» («Чистка», «Баллада о доблестном Эмиле»).

Способ существования советских мещан, предстающих в послереволюционных стихотворениях Маяковского не только в служебной обстановке, но и в жизни семейной, определяется ментальностью обывателей, ставящих комфорт и материальное благополучие выше духовных потребностей. Описания мещанина-бюрократа сопровождают мотивы приспособленчества и подмены сути видимостью, мотивы взятки, подхалимства («Служака», «Взяточники», «Протекция», «Общее руководство для начинающих подхалим», «Товарищ Иванов», «Проза-

седавшиеся»), тяги к материальному комфорту («В повестку дня», «Перекопский энтузиазм», «Идиллия»).

Существен для характеристики враждебного и образ «старого мира» как слитной, нерасчлененной массы; все действия ее представителей согласованы и подчинены цели тотального уничтожения, что передается через мотивы массового истязания людей, захвата земель, грабительства, навязывания своей воли («Сказка о дезертире», «Комбинация» из пальцев», «Европейское обозрение»). В некоторых стихотворениях подчеркивается локализация «старого мира» по отношению к «своему» [3, с. 185], в связи с чем используются ойконимы («Две Москвы», «Киев», «Крым»). Так, в стихотворении «Две Москвы» «старый мир» расположен внутри столицы, которая предстает средоточием всего нового, передового: «Хулиганье / по кабакам, / как встарь, / друг другу мнут бока. / А ночью тишь, / и в тишине / нет ни гудка, / ни шины нет» (ВМ5, с. 83). Появление «новой» Москвы сопровождается мотив строительства, она постепенно вытесняет «старую» Москву, деревню. С ней связаны такие реалии, как почтамт, Ленинский институт, метрополитен, «пыхтенье машин», грузовозы, автобусы, заводы: «И кажется: / центр-ядро прорвало / Садовых кольцо / и Коровьих валов» (ВМ5, с. 84); «Растет представленья / о новом городе, / который / деревню погонит на корде» (ВМ5, с. 85). Сходным образом в стихотворении «Киев» поэт оказывается в особом пространстве внутри Советского государства, все еще живущем по правилам старого миропорядка.

Таким образом, оппозиция «свое»/«чужое», сложившаяся в архаическом сознании и укорененная в общечеловеческой культуре, находит воплощение в развитии мотивной и образной структуры лирики Маяковского, позволяя глубже понять важнейшие особенности мироздания поэта и способы создания им художественной действительности.

Несмотря на то что в раннем творчестве сфера «я» еще не расширяется до пределов «своего» мира, на возникновение представлений о «чужом» мире указывает развитие темы одиночества, реализуемой через мотивы шага и голоса, а также формирование противопоставления лирического субъекта толпе. Интересно, что выпадение из коллектива, или «социальное отчуждение», в поздней лирике становится приметой «чужих», отторгаемых советским обществом. В 20-е годы в рамках горизонтальной модели наблюдается, с одной стороны, расширение сферы «своего», выразившееся в преобладании мотивов единения и ослаблении мотива одиночества, с другой стороны – конкретизация и дифференциация сферы «чужого», в которой можно выделить врагов внешних и внутренних.

Соотношение мотивов одиночества и единения в лирике Маяковского важно для очерчивания границ «своего» и «чужого». Так, определяющая роль мотивов одиночества, отверженности в ранних стихотворениях вполне согласуется с господством «чужого», обступившего лирическое «я» со всех сторон. В после-революционном творчестве преобладание горизонтальной модели ставит человека в центр мироздания; частный человек преодолевает свое одиночество при условии слияния с коллективом, воспринимаемым как «свой» мир; мотив единения, появляющийся уже в ранней лирике в связи с настойчивой потребностью разрешения одиночества, в стихотворениях 20-х годов вытесняет последний и становится доминирующим.



### Summary

*D.Sh. Khannanova.* “Native” and “Foreign” Worlds in V.V. Mayakovsky’s Verse.

The article analyzes the motive and the imagery structures of Mayakovsky’s verse in the aspect of substantiating the native/foreign opposition, which is embodied in the antinomies me/surrounding world (in the early works) and enemy image/us (in the late works).

**Key words:** “native”, “foreign”, lyrical subject, image of crowd, image of enemy.

### Источники

БТС – Большой толковый словарь русского языка / Под ред. С.А. Кузнецова. – СПб.: Норинт, 2003. – 1534 с.

ТСРЯ – Толковый словарь русского языка / Под ред. С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой. – М.: ООО «ИТИ ТЕХНОЛОГИИ», 2003. – 944 с.

ВМ1 – *Маяковский В.В.* Собр. соч.: в 8 т. – М.: Правда, 1968. – Т. 1. – 462 с.

ВМ2 – *Маяковский В.В.* Собр. соч.: в 8 т. – М.: Правда, 1968. – Т. 2. – 477 с.

ВМ3 – *Маяковский В.В.* Собр. соч.: в 8 т. – М.: Правда, 1968. – Т. 3. – 478 с.

ВМ5 – *Маяковский В.В.* Собр. соч.: в 8 т. – М.: Правда, 1968. – Т. 5. – 566 с.

ВМ6 – *Маяковский В.В.* Собр. соч.: в 8 т. – М.: Правда, 1968. – Т. 6. – 454 с.

### Литература

1. Одиссей. Человек в истории 1993: Образ «другого» в культуре. – М.: Наука, 1994. – 331 с.
2. *Лотман Ю.М.* Текст и полиглотизм культуры // Лотман Ю.М. Избр. ст.: в 3 т. – Таллин: Александра, 1992. – Т. 1. – С. 142–148.
3. *Байбурин А.К.* Ритуал в традиционной культуре. – СПб.: Наука, 1993. – 253 с.
4. Мифология / Под ред. Е.М. Мелетинского. – М.: Большая рос. энцикл., 2003. – 736 с.
5. *Смирнов И.П.* Место «мифопоэтического» подхода к литературному произведению среди других толкований текста (о стихотворении Маяковского «Вот так я сделался собакой») // Миф – фольклор – литература: Сб. ст. – Л.: Наука, 1978. – С. 186–203.
6. *Фатющенко В.И.* Русская лирика революционной эпохи (1912–1922 гг.). – М.: Гнозис, 2008. – 416 с.
7. *Карабчиевский Ю.А.* Воскресение Маяковского. – М.: ЭНАС, 2008. – 320 с.
8. *Кормилов С.И., Искржицкая И.Ю.* Владимир Маяковский. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1999. – 128 с.
9. *Михайлов А.А.* Мир Маяковского: взгляд из восьмидесятых. – М.: Современник, 1990. – 464 с.
10. *Геллер М.Я.* История Российской империи: в 3 т. – М.: МИК, 1997. – Т. 1. – 448 с.

Поступила в редакцию  
05.03.12

---

**Ханнанова Диана Шамилевна** – аспирант кафедры литературы Псковского государственного университета.

E-mail: [myNeverlandia@mail.ru](mailto:myNeverlandia@mail.ru)